

**Всероссийская олимпиада школьников  
по литературе**

**Муниципальный этап  
11 класс**

**Инструкция по выполнению работы  
Время выполнения работы – 270 минут.**

Внимательно прочитайте задания. Распределите время, чтобы успеть выполнить оба задания на беловике. Пишите ответы на вопросы разборчивым почерком, оставляйте поля.

Максимальное количество баллов – 100.

***Желаем успеха!***

**Задание 1.**

Дайте целостный анализ рассказа Н.Берберовой «Твердый знак»

При анализе можно опираться на вопросы, которые даны ниже, но не обязательно отвечать на вопросы, тем более в этом порядке.

13. Почему в рассказе почти нет фабулы? Как соотносятся фабула и сюжет рассказа?

14. Какой предстаёт старость в этом рассказе

15. Почему в рассказе не названы герои, которым принадлежат голоса других людей?

16. Как Вы понимаете название рассказа?

**Количество баллов – 70.**

Кто-то как будто ходил по квартире, словно нарочно, чтобы напугать Александра Львовича, чтобы он, проснувшись, обмер, чтобы все утро было испорчено этим испугом. Как он ни крепился, сердце захолонуло: шаги раздавались в столовой. Входную дверь он вечером запер, он это помнил, но черный ход? но окно? «Ах нервы,

нервы!» Это трубочисты работают в соседней квартире. Как надо быть осторожным, как надо беречься, сколько неожиданных неприятностей подстерегает нас в жизни!

Шлепанцы, халат, взъерошенные полуседые волосы, дыра во рту сбоку — это так, для себя. Если кто-нибудь звонит, сейчас же выкидывается из шкафа малиновая, в ястребах, шелковая хламида, сафьяновые туфли, душистой щеткой приглаживаются волосы, вставляется зуб. И Александр Львович идет к дверям со сладчайшей улыбкой, слегка заводя правую ногу, накрутив на палец перстень. Племянница, швейцарихи разносит почту, или это прачка, или итальянка пришла убирать квартиру. Один раз явилась пожилая, с умным лицом шестидесятницы, горничная дочери с запиской: «Папа, вчера у нас сняли телефон, сегодня запрут электричество. Кроме повара и Берты отпустили всех. Не прошу у тебя денег, но купи персидский ковер из гостиной. За него было заплачено двенадцать тысяч, для тебя уступим за восемь. Шура.»

Надев большие очки, в которых его тоже никто никогда не видел, он садился за стол, под портрет известного деятеля (который бы вероятно очень удивился, узнав куда его повесили), выпивал стакан горячей воды и читал газеты, чтобы было о чем поговорить, если случится. Деловые письма, письма с просьбами, женские письма, он раскладывал по местам. Потом вынималась тетрадь с золотым обрезом: «Мои размышления и звуки». Указательным пальцем левой руки подпирался склеротический висок. В тетрадь записывались вчерашние расходы (завтрак, такси, на чай, цветы, аптека).

И так далее. Стакан горячей воды был выпит за полчаса до кофе и сваренного всмятку яйца. В десять без десяти позвонил телефон, и хриплый мужской голос торопливо, запальчиво, не называя себя, начал убеждать Александра Львовича, что кончится «все это» скандалом, что некоего господина Якубовича уже ищет полиция. «Да кто говорит?» — спросил несколько раз Александр

Львович. «Благожелатель», — ответил голос и повесил трубку. Александр Львович решил быть с Якубовичем впредь осторожнее.

Он одевался довольно долго; сверкая ногтями, благоухающий и какой-то весь осторожный: не запачкаться бы, не наступить бы куда, не увидеть бы чего некрасивого (да и не рассыпаться бы), вышел на улицу. Брюнеточка сидела у окна. «Она без меня прямо жить не может», — подумал Александр Львович и ослабился. День был самый обыкновенный, жаркий летний день в городе. Рукой в светлой перчатке снимал Александр Львович трость, монокль придавал его лицу что-то свирепое, борода едва седела, жесткая и острая. Ему казалось, что борода его — это нечто такое, без чего русского парижанина себе и представить невозможно, как невозможно представить себе без нее довоенного Петербурга. «Мы донесли, — сказал он однажды, и тридцать один человек, затаив дыхание, слушали его, и он протянул руку к окну, где мигала огнями Эйфелева башня, — мы донесли до нее, что у нас было: наш твердый знак!» Но в душе в эту минуту он, конечно, думал про бородку.

В редакции русской газеты, куда он приехал и где надпись «просят на пол не плевать» относилась и к нему, на что он в душе возмутился, он назвал свою фамилию, и его попросили обождать. Ждал он довольно долго, стараясь не кипеть, сохранить крови ее обычный ход, словом если не с пользой проводить время, то хоть без вреда. Ждал он довольно долго потому, что, во-первых, было еще рано, а во-вторых, в соседней комнате два человека промеж себя спорили, как с ним быть: один говорил — надо его послать к черту немедленно, а другой, что его надо послать к черту, но не сразу.

Наконец, его попросили войти. Он, прежде всего, осведомился, хорошо ли его приняли и кто он. «Да, да, — ответил ему скучный человек в очках, — что угодно?» Александр Львович сел, утвердив на столе свою шляпу изнанкой вверх, и она вдруг показала миру свою роскошную внутренность: белый атлас, золотой росчерк

фирмы, эмалевые инициалы. Он попросил напечатать на видном месте письмо в редакцию о том, что три дня тому назад упомянутый в газете Александр Красноверов (без постоянного местожительства), высылаемый из Франции за разные непотребства, ничего не имеет общего с ним, присяжным поверенным А. Красноперовым.

— Да ведь там вэ-э-э-э, — протянул скучный человек, — а здесь пэ-э-э-э.

— Жизнь состоит из деталей, — и он выплюнул из глаза монокль. Но напечатать письмо ему отказали.

Посмотрев на себя мельком в зеркало над комодом, он вышел. После него в коридоре остался запах персидской сирени, которой он душился вот уже сорок лет.

День был самый обыкновенный, один из 365 дней, может быть 210-ый, или какой другой. Дел у Александра Львовича не было никаких, — дела за него делали другие: покупали, продавали, попридерживали. Позавтракал он как всегда с пользой, встречая кого надо. Лакей его знал, в летнее время с террасы отгонял от него случайных нищих, за что он щедро давал ему на чай. Лакей доставлял ему сведения об обедающих дамах. «Ни по чем, — говорил он, — господин Красноперов, здесь никакой почвы нет. Не стоит терять сил и здоровья». Или: «Все данные за и против. Предоставьте нам». (Это значило, что может быть удача, и «против» говорилось с разбегу). И Александр Львович, наставив стеклышко, дерзко и властно смотрел на блондинку, ошипывающую артишок. И такая казалась она особенная, далекая, наверное, привередливая и загадочная... А познакомился — глядишь, все то же: болтовня, скука, деньги. Но отчаиваться не надо: всех перепробуем, всему нарадуемся! Главное, во всем находить удовольствие, как заразы бояться огорчений. Довольно было несчастий: два состояния потерял (в России и в Берлине), жена бросила, дочь ушла, живет «так», сын застрелился после карточного проигрыша. Пора радоваться. Осталось — не так уж и много. Только пожалуйста,



милые европейские правители, не устраиваете новой войнишки; землетрясения, потерпите! Гольфстрем, прошу продолжать во всю!

— Да сколько ему лет? Ей-богу, он для шестидесяти выглядит молодцом, — сказал ему кто-то вслед, когда он вышел из ресторана. И правда, хоть он и говорил, что ему 54, для шестидесяти одного года он был моложав, прям, старался плечам придавать при походке упругость, вообще крепился вовсю, поддерживая, когда случалось, разговоры о плавании, теннисе, о солнце, море, новых, в последнее десятилетие появившихся худощавых стриженных женщинах (на деле предпочитая вялых, роскошных особ, никогда не бравших в руки ни весла, ни ракетки), говорил о театре (в мыслях держа «Птичек певчих» и «Даму от Максима»). О том, что после завтрака он дома спит, а перед тем снимает трубку телефона, долго громко зевает, охает, крихтя и сморкаясь, никто не догадывался. Засыпал он обычно что-то блаженно высчитывая, и так устраивались его дела в последнее время, что всегда хватало, и оставалось, и все были довольны, и еще благодарили его.

Положительно ничего неприятного не должно было существовать на свете. Все неприятности он решил раз навсегда отменить. Если начать вспоминать, может испортиться эта форма, в которую он вдвинул себя. Третьего дня, например, он стоял у одного дома на набережной. У него была полная уверенность в том, что из знакомого окна третьего этажа ему сбросят ключ. Во-первых, как ему казалось, он поймал один взгляд — более удивленный, чем обещающий. Во-вторых, он ловко всунул в шелковую сумочку письмецо. И окно, действительно, открылось. Он перешел через улицу и в ту минуту, как он вступал на тротуар, его сверху облили. Это была вода, в этом не могло быть никаких сомнений. И теперь он старался забыть об этом.

Обыкновенный день, 219-ый, скажем, старался пробиться, досадить ярким светом, сквозь ставни. Александр Львович завел глаза, потянул носом. В одиночестве он разрешал себе храп.

Обыкновенно, под вечер, он шел пройтись и гуляя по улицам очень часто жалел, что неудобно носить с собой «Размышления и звуки», многое встречалось такого, что нужно бы было записать. Для гладкости жизни мешали на закате слишком ярко блиставшие стекла автомобилей. «Вот вы все боретесь с шумами, — писал он на прекраснейшем французском языке в письме, адресованном префекту парижской полиции (и подписанном „Русский гость“), — а не боретесь с резкостью света, весьма часто неприятно действующего на прохожих». Он любил писать письма, и обычно, суть в них так и не успевал выразить, все пробаваясь каким-то подобием сути. «Дорогая Вера Михайловна, я пишу вам „дорогая“, хотя должен был бы написать „милая“, по многим причинам, о которых вы вероятно догадываетесь...». «Досточтимый Август Федорович, я вчера лицезрел Якубовича по вашему делу, и должен вам спешно сообщить, что ничего еще не могу вам сказать положительного», — и еще, и еще, страницы две, а то и три, и никак нельзя было доискаться: приехало ли «вышеозначенное лицо», или уехало, и кто кого будет ждать, и от него ли были вчера хризантемы, — так он умел наплести.

Гуляя, он доходил до улицы, где высоко, как птица в клетке, непроницаемая в своей веселости, пышности и здоровье, жила Жермена. Три раза в неделю он поднимался к ней, в остальные дни посещал то общественно-благотворительное учреждение, в котором был председателем, и которое помещалось в двух темноватых комнатах, где от четырех до шести сидел и дымил самокрутками секретарь почтенных лет, с которым Александр Львович не всегда здоровался за руку. Жермена выпроваживала гостей за полчаса до его прихода: то это была подруга, то возлюбленный, то прибывшая из провинции мамаша. Что он делал у нее — сказать трудно. Во всяком случае, он расплачивался деньгами и подарками, ни о чем не спрашивал, и целовал ее на прощание в лоб. А она, как только он уходил, заваливалась спать до вечера, когда опять кого-то ждала, с



коньяком, ликерами, словом со всем тем, что несомненно было для Александра Львовича вредно.

Спадала жара. Садилось солнце. Постукивая тростью, он возвращался домой, провожая глазами женщин, останавливаясь перед витринами магазинов белья и готового платья. «Как изящна жизнь, — думал он, — и как изящно живу я сам, надо только стараться не замечать уродств. Вот идет деревяшка. Пусть идет себе, отвернемся. Какое потное лицо». И он сейчас же переходил через улицу.

Вечером, в уютном кабинете, начинались телефонные разговоры. Лампа под низким абажуром, шкура под ногами, цветы в вазе. «Ах, дорогая, приезжайте сейчас ко мне, сердце мое бездонно бьется». В телефоне слышался сдавленный смех.

Сжав челюсти, застегнувшись на все пуговицы, он подходил к окну, кашлял, бодрился. Там, напротив, в окне, он искал брюнеточку. Двор пуст и гулок. Невидимый во мраке человек простучал цинковым ведром, грохнул мусор в мусорный ящик; пахло городом, летом, пыльной ночью. В небе было темно; там где-то крепко и прочно сидели звезды. К звездам у него было всяческое сочувствие. Он думал: не замечать, презирать, выдумать что-нибудь, от чего все ахнут. Скользить. И нечего вспоминать, перетряхивать, пересыпать в памяти какие-то неудачи: возможное мошенничество Якубовича, утренних трубочистов, все вырванные из его ладоней женские руки, удар по зубам в такси однажды, и еще раньше — или нет, совсем недавно — хохочущий голос в фойе театра: он сказал что-то такое политическое и о том, кого пускать и кого не пускать куда-то. Открылся молодой женский малиновый рот с ослепительным полукругом зубов. Кругом стояли и слушали люди:

— Скорей, торопитесь! Не то вас упразднят! Стараетесь во всю, ведь таких как вы никогда больше не будет!.. Вы уже и сейчас не нужны никому, как твердый знак, да, да, напрасно вы так бережно

везли его за собой вокруг земного шара! Ах, если бы вас можно было надеть, как бабочку, на булавку!.. (1933)

## Задание 2.

**Прочитайте стихотворения трех поэтов под одним названием «Музыка». Почему каждый из них выбрал для стихотворения как центральный образ того или иного музыкального инструмента? Какие художественные средства использованы для создания образа конкретного инструмента в каждом стихотворении?**

### Борис Пастернак. Музыка

Дом высылся, как каланча.  
По тесной лестнице угольной  
Несли рояль два силача,  
Как колокол на колокольню.

Они тащили вверх рояль  
Над ширью городского моря,  
Как с заповедями скрижалей  
На каменное плоскогорье.

И вот в гостиной инструмент,  
И город в свисте, шуме, гаме,  
Как под водой на дне легенд,  
Внизу остался под ногами.

Жилец шестого этажа  
На землю посмотрел с балкона,  
Как бы ее в руках держа  
И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл  
Не чью-нибудь чужую пьесу,  
Но собственную мысль, хорал,  
Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес  
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,  
Бульвар под ливнем, стук колес,  
Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен  
Былой наивности нехитрой,  
Свой сон записывал Шопен  
На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир  
На поколения четыре,  
По крышам городских квартир  
Грозой гремел полет валькирий.

Или консерваторский зал  
При адском грохоте и треске  
До слез Чайковский потрясал  
Судьбой Паоло и Франчески.  
1956

**Андрей Дементьев. Музыка**

Послушайте симфонию весны.  
Войдите в сад,  
Когда он расцветает,  
Где яблони,

Одетые цветами,  
В задумчивость свою погружены.  
Прислушайтесь...  
Вот начинают скрипки  
На мягких удивительных тонах.  
О, как они загадочны и зыбки,  
Те звуки,  
Что рождаются в цветах!  
А скрипачи...  
Вон сколько их!  
Взгляните...  
Они смычками зачертили сад.  
Мелодии, как золотые нити,  
Над крыльями пчелиными дрожат.  
Здесь все поет...  
И ветви, словно флейты,  
Неистово пронзают синеву...  
Вы над моей фантазией не смейтесь.  
Хотите, я вам «ля мажор» сорву?

**Булат Окуджава. Музыка**

Вот ноты звонкие органа  
то порознь вступают, то вдвоем,  
и шелковые петельки аркана  
на горле стягиваются моем.

И музыка передо мной танцует гибко,  
и оживает все до самых мелочей:  
пылинка виноватая улыбка  
так красит глубину ее очей!



Ночной комар, как офицер гусарский, тонок,  
и женщина какая-то стоит,  
прижав к груди стихов каких-то томик,  
и на колени падает старик,

и каждый жест велик, как расстоянье,  
и веточка умершая жива, жива...

И стыдно мне за мелкие мои старанья  
и за непоправимые слова.

...Вот сила музыки. Едва ли  
поспоришь с ней бездумно и легко,  
как будто трубы медные зазвали  
куда-то горячо и далеко...

И музыки стремительное тело  
плывет, кричит неведомо кому:  
«Куда вы все?! Да разве в этом дело?!»  
А в чем оно? Зачем оно? К чему?!

...Вот чёрт, как ничего еще не надоело!

**Количество баллов – 30.**

ОМ №00100326